

Переезду в Москву способствовало новое возвышение Владимира Нарбута, которого перевели в столицу в отдел печати ЦК РКП(б). Следом потянулись его подопечные, первым из которых был Катаев. Но в Москву поехал и Сергей Ингулов — поступил в Главполитпросвет на должность зам. завгитотдела.

В Москву отовсюду, из родных мест и тех, куда были заброшены гражданской войной, съезжались молодые литераторы, например, Михаил Булгаков — из Батума через Киев в 21-м; Николай Асеев в 22-м — с Дальнего Востока; почти в то же время, что и Катаев, из Харькова перебрался Георгий Шенгели. “Едущих в Москву можно было распознать по блеску глаз и по безграничному упорству надбровных дуг”, — наблюдала Вера Инбер. Они ехали оттуда, где только кончилась война и всё время менялась власть, туда, где давно шла мирная жизнь.

“Я мечтал раскусить Москву, как орех, — признавался Катаев. — Я мечтал изучить её сущность, исследовать, осмотреть, понять, проанализировать. Я мечтал увидеть наркомов и Кремль, пройти по Тверской, снять шапку перед мелкими куполами арбатских часовен (о, Бунин, Бунин!)”. Приехал он в марте, в потёртом пальтишке, перешитом из солдатской шинели, с плетёной корзинкой, “запертой вместо замочка карандашом, а в корзинке этой лежали рукописи и пара солдатского белья”. “Как сейчас помню только что появившегося в Москве молоденького В. Катаева в какой-то пелерине вместо пальто”, — писал артист театра оперетты Григорий Ярон.

Это была Москва храмов, бульваров, переулков, голых садов, деревянных домиков, извозчиков и громыхающих среди талого снега трамваев. Столица нэпа. Время *разгульного мещанина* — обилие торговых лавок, частных магазинов, закусовых, пивных, кабаре и ресторанов, где выступали артисты-куплетисты и цыгане. Начался журнальный бум: множество изданий с юморесками, пародиями, карикатурами, фельетонами, весёлыми зарисовками из обыденной жизни.

“Помню, я в первую ночь после приезда ночевал на десятом этаже дома Нирнзее”, — делился Катаев. Увиденное с этой высоты он обрисовал че-

рез год в еженедельнике “Красная нива”: “Внизу шумела ночная Москва. Там ползли светящиеся жуки автомобилей и последних вагонов трамвая. Из ярких окон пивных и ресторанов неслась музыка, смешиваясь с гулом толпы и треском пролёток. Светящиеся рекламы были выбиты на крышах электрическими гвоздями”.

Он встретился с поэтом и драматургом Андреем Глобой, который, извинившись, сказал, что должен идти к портному. Катаев, отвыкший от комфортных условий, был шокирован. К портному!

В Москве он сначала жил у Андрея Соболя. Но совсем недолго: сильно стеснял, да и многие атаковали жилище москвича. Переехал в Мыльников переулок (ныне улица Жуковского) в районе Чистых прудов, снял квартиру у Ляли Фоминой, как посоветовал ему знакомый литератор. По всей видимости, “великая блудница” из рассказа “Фантомы”, приторговывавшая самогоном, и была та самая Ляля: “Универсальные брошюры по всем вопросам литературы, техники, философии, этики, социологии и животноводства сыпались из этой мрачной дамы, как из взломанного шкафа полковой библиотеки. Она уничтожала меня цитатами, зловеще хохотала, высывала из-под одеяла толстую голую купеческую ногу, вращала облупленными яйцами глаз, чесалась под мышками, забивала в рот куски хлеба и жрала столовой ложкой сахарный песок”.

Точный адрес в Мыльниковом переулке был: дом 4, квартира 2.

Арон Эрлих, приехавший в Москву из Тбилиси, расценивал катаевский быт как вполне сносный по сравнению с тем, что выпало другим гостям строенных комнат с гардинами и занавесками, с мебелью, с чайным и обеденным сервизами, даже с домашней работницей”. Конечно, домработница появилась со временем, да и обстановка стала меняться постепенно, когда жилец начал неплохо зарабатывать.

На следующий же день после приезда Катаев отправился в Главполитпросвет. “Здесь был Ингулов, работал одним из заместителей Крупской... Он меня встретил словами:

— Да вы как будто с неба свалились. Мы хотели телеграмму вам послать, ищем для журнала “Новый мир” ответственного секретаря”.

Там Катаев познакомился и с самой Надеждой Константиновной.

Тот “Новый мир” просуществовал совсем недолго, вышло два номера, и всё же, говорил Катаев, “отсюда и пошли мои литературные связи”, завязалось знакомство с ЛЕФовцами. Журналом в основном занимался Александр Серафимович, живший в “Национале”, где прямо в его номере велась вся работа. Другим редактором был Нарбут.

Но главное — талант, бравший набег ещё из детства. По замечанию Зинаиды Шишовой: “Юношеские катаевские рассказы, перевезённые в Москву, не стали от этого хуже. А многие ли провинциалы могут этим похвалиться?”

“Новый мир” опубликовал рассказы Катаева “В осаждённом городе” и “В обречённом городе”. Последний — переименованный “Опыт Кранца”, который ещё в 19-м дважды выслушал Бунин, был отредактирован Серафимовичем. Тот упрекнул Катаева в “одностороннем, условно-романтическом изображении жизни Одессы в годы острой классовой борьбы” и сам дописал последний абзац. Изначально у Катаева всё завершалось эффективным изломом: “В ушах стоял оглушительный колокольный звон, и красными буквами гремела фраза, сказанная чьим-то знакомым и незнакомым голосом: “Вы держите папиросу не тем концом”. Правверный Серафимович решил добавить суровых слов, создающих революционно-пролетарский контекст: “А в это время на тёмных и глухих окраинах рабочие уже смазывали салом пулемёты, набивали ленты, выкапывали ящики с винтовками, назначали начальников участков, и новый день, обозначавшийся светлой полосой за чёрными фабричными трубами, был последним днём Вавилона”.

В другом рассказе — “В осаждённом городе” — студент лирично откровенничал перед пьяным матросом: “И представляешь себе Россию, как шкуру огромного белого медведя, по которой во все стороны ползут поезда”, — и тянулся почитать свои стихи, но тотчас, распознанный как контра, полу-

чал плуто. В этом рассказе, где на месте не убийцы, но убитого легко увидеть Катаева, был тот странный привкус авторской философии, который возникал уже в текстах первой мировой: кажется, Катаев совсем не сожалел о злом повороте житейского сюжета, ощущая особый трагичный цинизм...

“Выпускали его в противовес нэповским журналам”, — вспоминал позднее Катаев о “Новом мире”, подразумевая, что руководили журналом назначенные ЦК партии писатели-коммунисты. “Так начиналась борьба с нэпом в печати”, — объяснял он, но это не мешало ему печататься и в изданиях нэповских, то есть кооперативных, не государственных. В журнале “Рупор” (всего вышло пять выпусков) он опубликовал несколько стихотворных фельетонов на “бытовую тему”, а в журнале “Москва” (вышло семь выпусков) — автобиографический рассказ “Сэр Генри и чёрт”.

Уже через год стихийное искусство и, прежде всего, сатира начали стремительно сужаться до “общественной пользы”. Надежда Мандельштам, не жаловавшая оглушительный юмор одесситов и футуристов, полагала, что в начале двадцатых всплеск “шуточек” означал и их осуждение, и в дальнейшем шутка “использовалась как хорошо оплачиваемый агитационный приём”. Однако “шутка Мыльникова переулка была безобиднее, пока она существовала в устном фольклоре Катаева”.

В Москве, как до того и в Одессе, и в Харькове, Катаев с первых дней был не прочь заработать на “общественной пользе”. По заказу Главполитпросвета он начал сочинять стихотворные агитки, которые визировала Крупская, требовавшая “ультразабыденности”. Иногда она вызывала его в кабинет, делала замечания, а заодно рассказывала о своём муже, о жизни в эмиграции и почему-то об Инессе Арманд. Однажды Крупская передала Катаеву пожелание Ленина литераторам “поменьше заниматься трескотнёй”, а “рассказать народу в популярной форме о новой жилищной политике”. Ободрённый её замечанием, что у него “бойкий язык”, Катаев за несколько дней накатал брошюру под названием “Новая жилищная политика”, которая тут же вышла в издательстве Главполитпросвета.

В одну из встреч с Крупской он не преминул попросить её о знакомстве с Лениным. Она будто бы согласилась как-нибудь “повезти вечером выпить чаю”, чтобы Владимир Ильич послушал о “молодой художественной интеллигенции”, но сослалась на то, что тот хворает за городом.

Вскоре после приезда Катаева в Москву Серафима Суок заявила со своим новым возлюбленным Нарбутом (Олеша был оставлен в Харькове).

Приехавший в том же 22-м Олеша стал жить у Катаева. Страдальческая ревность, испытанная им в то время, передана в его романе “Зависть”. Этого не скрывал и сам Олеша, указывавший, что главный прототип его Андрея Бабичева — Владимир Нарбут: “Если бы он был не “колбасником”, а, скажем, заведующим издательством, — это было бы пресно”. В новой версии жизнь повторяла сюжет с одесским состоятельным бухгалтером.

Осенью 23-го Олеша ненадолго вернулся в Харьков, откуда писал в Москву: “Будь проклят тот день и час, когда я решил ехать в Харьков. Это было так же безрассудно, как если бы дали брюшнотифозному, который поправляется, свиную отбивную. Боже мой, как ужасно! Я живу в собственной могиле. Все те ужасные чувства, которые мучили меня в Харькове в прошлом году, повторились с удвоенной силой. Это страшный рецидив... Я был в своей комнате у Фаины, у себя, у мертвого в гостях. Ничто не переменилось, всё осталось, как будто я вчера заснул... Только там, где жил Нарбут, в этих трёх заветных окнах теперь учреждение, и над главным окном горит огромный фонарь. Здесь я снял шапку и стоял очень долго... Теперь я вижу, что ничто во мне не прошло, что только Москва заглушила, как наркоз. Я только второй день в Харькове, завтракаю сейчас (Валя!) там, на Екатеринославской, где каждое пирожное стонет от тоски по прошлому... Оказывается, что проездом из Крыма Нарбуты жили в Харькове. Фаина видела Симу. Она страшно загорела и страшно худая. Фаина спросила её: “Жив ли Олеша?” И Сима весело и доброжелательно с улыбкой ответила: “Живёт, живёт, и очень хорошо живёт...” Не знаю, вероятно, сбегу — здесь так мучительно, так трудно, здесь переживаешь дважды собственную смерть.

Это не слова — вы видите, я не мог обойтись без участия, я сразу написал к друзьям. Я не могу, я схохну в этом городе на гнилых реках...”*

А вот письмо Олеши бывшей жене: “Милая Симочка! Мне очень хочется тебя увидеть. Семь месяцев я тебя не видел. До меня доходили только слухи о тебе. Ты понимаешь, как мне интересно увидеть тебя теперь, — как ты выглядишь, как одета. Много воды утекло, многое переменялось, а я даже голоса твоего не слышал целых семь месяцев! Если ты ничего не имеешь против, сделай так, чтобы можно было тебя увидеть. Мой телефон 42-20 (от П — 5 ч.). Стараюсь узнать и не могу номер твоего телефона. Помню, что твоё рождение 1 июня по ст. стилю, помню ещё одну чудесную дату, о которой ты, вероятно, уже забыла. Всё это не важно, важно твоё самочувствие, здоровье, о котором я очень беспокоюсь, твои наряды, твои симпатии. Обо всём этом мне очень хочется знать, без всяких надрывов, а просто, товарищески. Ты всё-таки и теперь для меня — самый дорогой, самый близкий человек. Разлука с тобой — большое горе. Ты это знаешь. Поэтому очень прошу тебя: не оставь без внимания этой моей записки. Крепко жму и нежно целую руку”**.

По Катаеву, на время Олеше удалось переманить Симу к ним в квартиру в Мыльников, но вскоре во двор явился бледный Нарбут и, называя всех по имени отчеству, обещал застрелиться из нагана, если Сима к нему не вернётся. И она вернулась.

Тогда же в 22-м Катаева стала печатать в своих “Литературных приложениях” единственная несоветская газета в советской России — “Накануне”.

Её издавали в Берлине “сменовеховцы”, предлагавшие эмигрантам примириться с новой властью и вернуться домой. Катаева впечатлял десятиэтажный дом в Большом Гнездиновском переулке, казавшийся “чудом высотной архитектуры, чуть ли не настоящим американским небоскрёбом”. В этом доме Ниризе на первом этаже и располагался московский филиал “Накануне”.

Эмилий Миндлин, работавший в “Накануне” секретарём, так вспоминал о визите Катаева и Олеши: “Как ни убого выглядели наши, молодых “наканунцев”, наряды, однажды появившиеся у нас Катаев и Олеша вызывающей скромностью своих одеяний смутили даже нашего брата. Не знаю, приехали ли они из Харькова поездом или пришли пешком, но верхнее платье на них выглядело ещё печальнее, чем в Харькове! А ведь и в Харькове они походили на бездомных бродяг! Наш заведующий конторой редакции Калменс возмутился появлением в респектабельной редакции двух подозрительных неизвестных.

— Вам что? Вы куда? — Полами распахнутой шубы он было преградил им дорогу. Но маленький небритый бродяга в каком-то истёртом до дыр пальтеце царственным жестом отстранил его и горделиво ступил на синее сукно, покрывавшее пол огромного помещения.

Катаев насмешливо посмотрел на Калменса и очень вежливо сказал ему “здравствуйте”... Ну, и попало же мне, когда мои харьковские знакомцы ушли! По словам взбешённого Калменса (особенно взбешённого тем, что они выудили у него аванс!), я чёрт знает кого приглашаю в редакцию!”

“Сменовеховцы”, группировавшиеся вокруг “Накануне”, надеялись, что идеи коммунизма потерпели крах, нэп — это признак естественной эволюции, смягчения режима после гражданской войны, неизбежного перехода от воинственной утопии к рынку, а там и к политической демократизации. Одновременно с этим звучали тезисы оправдания большевизма. Например, главред “Накануне” Юрий Ключников полагал, что пролетарский интернационализм — псевдоним имперского собрания народов, а Россия снова становится великой державой. Алексей Толстой редактировал воскресное “Литературное приложение” к “Накануне”, в котором печатались и писатели-эмигранты, и — в основном — писатели, оставшиеся в России. Вскоре Ключникова сменил Григорий Кирдецов, и газета стала более просоветской. По этому вопросу мнения Сталина и Троцкого разделились. Если Троцкий приветствовал “по-

* Из личного архива Людмилы Коваленко.

** Из личного архива Людмилы Коваленко.

краснение”, то Сталин продалил постановление Политбюро, написанное им лично: “Чека считает, что полевение “Накануне” является минусом для нас, ибо оно замедлит процесс расслоения эмиграции, отталкивает нейтральных, а самое газету превращает в подделку под коморган”.

В “Накануне” среди прочего в 22-м появился катаевский рассказ “Рыжие крестики” — красивый, лиричный — о некоей Наталье Ивановне и её давнем поцелуе в грозовом саду на юге возле дачи: теперь “сердце, опустошённое войной и революцией”, просило самоубийства, но в живых удерживали тот давний сад с поцелуем и неотправленное когда-то любовное письмо; со слезами она “вспомнила свою любовь к мужу, смерть ребёнка, расстрел брата”. Не привет ли это так занимавшей его эмигрантке Зое Корбул? Гибель брата-белогвардейца, смерть ребёнка... Рассказ как будто нарочито был далёк от всякой “идейности”, просто женщина поняла, “что в жизни равны и счастье, и горе, и любовь, и смерть, что нет в жизни ни взлётов, ни падений”.

В 23-м в “Накануне” вышел “рассказ мрачного романтика” (так гласил подзаголовок) “Железное кольцо” (по словам Катаева, при знакомстве Есенин назвал его замечательным), написанный ещё в 20-м. Бессмертный доктор в берете, с педлом и со зловецим пуделем скитался по всему миру, ко всему безразличный. Лишь однажды он оживился, встретив на диком побережье неподалёку от Одессы кудрявого голубоглазого поэта с влагой вдохновения в голубых глазах. Доктор-демон решил одарить Пушкина-счастливец “грубым железным кольцом с бирюзой”, приносящим счастье окружающим. Волшебное кольцо спустя долгое время “пропало в дыму десантов и в пыли реквизиции 1920 года”. Но вот уже рассказчик встретил на базаре “старую ведьму” гречанку с тем самым кольцом на костлявом пальце мумии, пушкинскими вещами (“клетчатые панталоны, складной цилиндр, подозрнная труба и кружевной платочек”) и даже соединёнными тесёмкой каштановыми бакенбардами. Он хотел всё это приобрести, но началась базарная облава, засвистели милиционеры, налетели “всадники эскадрона внутренней охраны республики”.

Эпизод с ускользнувшим кольцом (и прочим наследством Пушкина) можно прочесть как метафору катаевской судьбы, когда он, так рано и прекрасно сложивший художник, был вынужден выживать, приспособливая свой дар к “требованиям времени”.

Ведь писатель — это ещё и судьба. Советских писателей можно увидеть через игру “угадайку”: кем бы они стали, если бы не Октябрьская революция. Катаев выделялся среди лавочников и аптекарей, а порой рабочих и крестьян: был бы писателем и, наверняка, не менее знаменитым (кстати, как и почти все герои его “Алмазного венца”). Рассказчик в “Железном кольце” поспешил скрыться: “Однако я думаю, что не много проиграл, в конце концов. Верно?... Над нами всегда будет влажная, высокая голубизна, и сливы на рынках будут всегда покрыты бирюзовой пылью. Впрочем, к чёрту бирюзовую пыль! Были бы только сливы, а украсть их при известной ловкости всегда можно”. Сладкие сливы важнее литературного первородства, буду ловчить в агитпропе, красота мира никуда не денется...

В 1924-м в “Накануне” был напечатан рассказ “Переворот в Индии”: поэт Жак Пусьен “не может жить без славы, денег и любви” и ловко обманывает капиталиста, социал-демократа, и женщину, получив все желаемое: деньги, славу, любовь.

В “Накануне” появилось и стихотворение “Самогон” о реалиях, обступавших Катаева в квартире Фоминой:

*Неповоротливая, как медведь,
Зима обсасывает лапу тут,
Где примусов пожарных блещет медь
И розы синие, гудя, цветут...
...
Царевна Софья, самогон готов,
Тащи бидоны, ведра волоки!*

В Мыльниковом не только гнали самогон, но и нюхали кокаин.

Катаев в “Алмазном венце” упоминал о двух подругах, уступчивых и нежных, в белых платьицах, которые иногда по вечерам навещали квартиру в Мыльниковом. Олеша называл их “флаконами”. “Я помню, Катаев получал наслаждение от того, что заказывал мне подыскать метафору на тот или иной случай, — писал Олеша. — Он ржал, когда это у меня получалось”.

Вероятно, в редакции “Накануне” в 22-м Катаев познакомился с Михаилом Булгаковым. Не удивительно, что они пошли в это издание. Занятно другое: не успевшие сбежать белогвардейцы теперь участвовали в агитации к сбежавшим: “Возвращайтесь!”

В марте 22-го в Петрограде недолго выходил “первый беспартийный литературно-общественный журнал” “Новая Россия”, который был закрыт Григорием Зиновьевым, но заново открыт Лениным, возродившись в Москве под названием “Россия”. Главным редактором был Исайя Лежнёв, проповедовавший “консервативную революцию”. Журнал охотно печатал Булгакова (в “Театральном романе” он назвал его прообраз дорогим для сердца словом “Родина”), печатался со стихами и Катаев*.

Вскоре после знакомства с Булгаковым Катаев посетил его квартиру: “На стене перед столом были наклеены разные курьёзы из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты “Накануне” с переставленными буквами, так что получалось не “Накануне”, а “Нуненака”. Булгаков относился к изданию, пожалуй, не столько с идейной, сколько с экзистенциальной брезгливостью (в нём мешалось упрямство “контры” и жажда привиться к новому строю) и в дневнике записал: “Компания исключительной сволочи группируется вокруг “Накануне”. Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придётся впоследствии, когда нужно будет соскребать грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собою. Железная необходимость вынудила меня печататься в нём. Не будь “Накануне”, никогда бы не увидели света ни “Записки на манжетках”, ни многое другое”.

Благодаря “Накануне” на Западе впервые узнали о Катаеве.

Автор газеты эмигрант Роман Гуль вспоминал о писателях, которым разрешил погостить в Берлине и которые по преимуществу составляли её советский костяк: “Я познакомился с Константин> Фединым, Юрием Тыняновым, Борисом Пильняком, Евгением Замятиным, Николоаем> Никитиным, Ильёй Грузевым и другими. Всё это были писатели не только беспартийные, но и настроенные враждебно к режиму. С некоторыми я близко сошёлся, и они были со мной откровенны. От них я узнал многое о советском режиме и тамошней жизни. В разговоре со мной ни один из них не посоветовал мне вернуться в Россию”.

А вот как на страницах “Накануне” Гуль писал о Катаеве: “В творчестве Валентина Катаева есть две стороны: от “Валентина” и от “Катаева”. В православных святцах “Валентин” — самое неславянское имя. Валентин — благородный брат Маргариты. Валентин — романтик. Валентин — звучит западно. Но — “Катаев”! Где на “аев” найти ещё столь русскую фамилию? Даже не русская — какая-то специально московская фамилия. Так и вспоминается: “Катаю на резвой!””

Гуль, участник Ледяного похода генерала Корнилова, не вернулся, но другие “сменовеховцы” возвращались один за другим. В 30-е годы они, не исключая главредов Ключникова и Кирдецова, были уничтожены. Показательна судьба одарённого писателя, автора газеты Георгия Венера. Он, как и Катаев, воевал в Первую мировую, получил Георгиевский крест, а в гражданскую был дроздовцем. Вернулся в 26-м, вступил в Союз писателей, его книги имели успех. Пережив несколько арестов, умер в 39-м, избитый, больной гнойным плевритом, в тюремной больнице, откуда писал родным: “Я ни о чём не жалею, если бы жизнь могла повториться, я поступил бы так же”.

* Весной 1926 года журнал был закрыт, Лежнёв (1891–1955) арестован по обвинению в создании “антисоветской группировки в журнале “Новая Россия”” и выслан из страны. В 33-м получил разрешение вернуться в СССР, 22 декабря был принят в партию по личной рекомендации Сталина. Работал журналистом “Правды” и литературным критиком.

У Катаева успели пожить все перебивавшиеся из Одессы в Москву (поэтому Надежда Мандельштам писала об этом жилище не как о персонально катаевском, а как о “ранней богемной квартире одесситов”).

С одной стороны, их пригрел нэп, с другой — сальность и приниженность нэпманов были им чужды, с третьей — темперамент жителей тёплых краёв удачно совпал с лёгкими жанрами, востребованными тогда, так что всё-таки само время авантюр, трагикомедии и фантазмагии пропитало множество литературных произведений.

Эрлих вспоминал, что дом Катаева был местом “вечерних сборищ”. “Многие из нас приходили сюда с рукописями — почитать новое произведение, обсудить с товарищами свою удачу или неудачу. Вскладчину покупали пиво или вино... на закуску — тарань, козий сыр, колбаса, солёные огурцы. Начиналось чтение, после чтения пили и закусывали, а затем приступали к нелицеприятному разбору рукописи. Суровой критике подвергались и сюжеты, и тема, и стиль, правда замысла и правда исполнения. Однажды я принёс сюда пьесу — первую пробу свою в драматургии. Конечно, блин этот вышел комом. Да и вообще весь тот вечер складывался крайне неудачно. Денег ни у кого не оказалось — мы сообща едва наскребли около трёх рублей. Хозяин дома распорядился:

— Три бутылки пива и одну тарань пожирнее!

— Только? — презрительно усмехнулась домработница; она уже успела привыкнуть к нашим разговорам, наслушалась наших выражений и словечек, поэтому с заметными нотками сочувствия в голосе высказалась так:

— Пиво да вобла? Это — не тема!

— Ничего-ничего, сойдёт...

— Да как это сойдёт? Вон вас сколько народу... Кагору надо бы бутылочек минимум пять, ну, и сыру швейцарского, икорки красной, свеженькой ветчины — вот это тема! Поворот действия получится...

Но не было у нас средств “для поворота”.

Я привёл обширную цитату, прежде всего, из-за реплики “привыкшей” домработницы. При перечислении желанных яств, кажется, заговорил сам Катаев! Наступательная интонация, наивно-циничная связка между хорошей закуской и качеством текста... Определённо он имел влияние на эту женщину.

14 июня 1923 года Катаев послал в Коктебель Максимилиану Волошину (с которым у него никогда не ладилось) “самый сердечный привет и братство”. Он сообщал, что с Толстым, отбывшим в Берлин “за женой и ребятами”, много вспоминали и самого Волошина, и “великолепные и нелепые дни, проведённые в 19 году в Одессе”, и призывал приехать в Москву и примкнуть к их кругу. “Я устроился очень хорошо, много пишу стихами и прозой... Москва ждёт Волошина. Он не должен обмануть её ожиданий. Москва — изумительный город. Десятки салонов работают на пользу отечественной поэзии... Правительство, при восторженной поддержке армии, флота и вооружённого населения, с минуты на минуту готово объявить поэтов вне закона. Москва ждёт вас. Старые мастера нужны Москве. Приезжайте. В Охотном ряду в рыбных магазинах висят громадными брёвнами фантастические осетры, которые сочатся и благоухают. Винторгуправление за небольшую плату отпускает желающим неплохое грузинское вино. В пивных подают очаровательное пиво, чёрное и белое, окружённое тарелочками с мокрым горохом, тонко нарезанной “глупой воблой воображения”* и сухариками. На мраморных столиках, покрытых пивной влагой и пеной, покоятся локти лучших и интереснейших людей современности”.

Катаев и Хлебников

На Мясницкой неподалёку от катаевского дома в кирпичных корпусах расположилось общежитие ВХУТЕМАСа — образованных в конце 20-го года Высших художественно-технических мастерских. Многие вернулись с фрон-

* Цитата из Маяковского.

тов и ещё носили будённики, папахи и шинели. Здесь преподавали Родченко и Татлин, Фаворский и Кандинский, под началом которого расцвёл абстракционизм. Стены общежития были увешаны картинами, где сплетались причудливые фигуры и линии. Во ВХУТЕМАСе реализм тщетно пытался сопротивляться новым течениям. Ленин, посетивший мастерские с Крупской, был огорчён, когда на его вопрос: “Должно быть, боретесь с футуристами?” — студенты ответили хором: “Нет, Владимир Ильич, мы сами футуристы!”

В этом общежитии в конце 1921-го поселился вернувшийся из Персии и других странствий Велимир Хлебников. Художник Сергей Евлампиев рассказывал: “Он без всяких лишних слов тихим голосом попросил его принять в нашу коммуны, так как ему негде жить и питаться”.

Голодный, лохматый, беззубый, мучимый лихорадкой Хлебников занимался стихами и трактатом “Доски судьбы” с математическими формулами, который был издан крошечным тиражом в конце 22-го. В Москве он почти не печатался, не считая появившегося в “Известиях” антиэнэпмановского стихотворения “Не шалить”:

*Не затем у врага
Кровь лилась по дешёвке,
Чтоб несли жемчуга
Руки каждой торговки.*

В доме во дворе ВХУТЕМАСа жил футурист, “заумник” Алексей Кручёных. Кручёных был маниакальным литературным коллекционером, благодаря чему сохранились творческие автографы многих писателей, включая Катаева. В письме “дорогому товарищу Кручёных” зимой 22-го Катаев делился “наблюдениями в области звукообраза”, в качестве удачного примера переключки созвучий приводя стихи Пастернака и собственное стихотворение “Бриз”.

Той зимой, вспоминал Катаев, Велимир Хлебников, “странный гибрид панславизма и Октябрьской революции”, жил у него несколько дней в комнате в Мельниковом, беспорядочно читал стихи, которые, как известно, хранил небрежно и часто терял. “Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель”.

После выхода “Алмазного венца” недоброжелатели пытались поставить под сомнение их знакомство. Тем не менее, в альбоме Кручёных, составленном в 20-е, есть фотография “председателя земного шара”, к которой Катаев приписал с будетлянским оттенком: “Встречался с Хлебниковым в 922 году в Москве. Гениальный человек. И ещё более гениальный поэт-речетвор. Валкатаев”. А в записях Олеси — другое свидетельство: “Я Хлебникова не видел. У меня такое ощущение, что я вошёл в дом и мог его увидеть, но он только что ушёл. Это почти близко к действительности, так как он бывал в квартире Е. Фоминой в Мельниковом переулке, где жил Катаев и где я бывал часто. Катаев его, например, видел, и именно у Е. Фоминой. Из рассказа Катаева создавалось впечатление, во-первых, о человеческой кротости того и всё же такой сильной отрешённости от материального мира, что казалось: это идиот”.

Надежда Мандельштам вспоминала, как перед самым отъездом из Москвы Хлебников “приходил есть с нами гречневую кашу в Дом Герцена и молча сидел, непрерывно шевеля губами”. Она же рассказала о том, что её муж потащил Хлебникова к Николаю Бердяеву, который в тот момент был одним из руководителей Всероссийского союза писателей — подчеркнуто меньшевистского объединения авторов “старой формации”, имевшего, тем не менее, хозяйственные возможности. “Мандельштам набросился на него со всей силой иудейского темперамента, требуя комнаты для Хлебникова... Представляю себе, как испугался не подготовленный к буре Бердяев. Со слов Мандельштама я знаю, что такого приступа тика, как во время этого разговора, он у Бердяева никогда не видел”. В комнате было отказано.

Хлебников покинул столицу и скончался в том же году в селе Санталово Новгородской губернии. Сам же Бердяев в том же 22-м был отправлен из страны на “философском пароходе”.

Тогда же Катаев приотлил у себя “банду поэтов-ничеговоков” из Ростова-на-Дону.

В калужском журнале “Корабль”, выходившем всего год и охотно печатавшем писателей “старой формации”, появился его рассказ “Восемьдесят пять” с пояснительной сноской “Из эпохи гражданской войны и борьбы с контрреволюцией”: чекист разоблачил чекиста, как оказалось, когда-то агента царской охранки. Именно здесь впервые исподтишка Катаев передал свои предсмертные переживания в застенках: “Он уже видел себя введённым в пустой гараж”, — и так же исподтишка убил героя, словно бы с облегчением, с мучительным, но освобождающим приятием такого финала. По сути, провидчески возник мотив взаимного истребления новых властителей. Катаев как будто бы вновь (и на этот раз тоже исподтишка) пробовал ответить на свой вопрос времён Первой мировой: можно ли превратить ужас в красоту природы, труп — в музыку. “Бобров мечтательно курил, устало глядя в окно на приливавший рассвет, и зевал. Стоявший у двери сделал два шага вперёд и выстрелил Боброву в затылок... Пороховой дым тонкими ниточками вытягивался в окно, смешиваясь с кисельным запахом лип”.

Тем временем он пытался издать книгу.

В мае 1922-го предложил в Госиздат сборник рассказов “В осаждённом городе”. Издательство отдало рукопись критику Петру Когану (уже знакомому с Катаевым, пытавшимся пристроить у него стихи Хлебникова). Коган отозвался одобрительно: “Автор наделён наблюдательностью. Рассказы написаны человеком, пережившим то, о чём он пишет, и потому подкупают той особою искренностью, какая свойственна очевидцам. Автор несомненно талантлив, хотя сюжеты выбирает неграндиозные и неглубокие. Но тем не менее это хотя и миниатюры, но законченные. Достоинство и то, что содержание современно: наша революционная эпоха и события освещены в духе революции”. И всё же в Госиздате приняли решение рукопись “временно отложить”.

Затем Госиздат в лице Михаила Столярова отказал Катаеву в публикации книги советов о гражданской войне “Железо”: “Автор — читатель и поклонник Эредия*, мастера декоративного сонета. О гражданской войне он пишет только потому, что это тема любопытная и благодарная. Он зарисовывает её эпизоды, оставаясь сам равнодушно-внимательным наблюдателем”.

Столяров жёстко отрецензировал и пьесу “Героическая комедия”: “Пьеса Катаева производит то же впечатление, что и сонет его. Только она гораздо слабее технически... Почему она комедия — неизвестно: в ней ровно ничего комического. Это, скорей, мелодрама на революционную тему. Сын казнённого революционерами короля предводительствует революционными войсками против белых. Устроенный им заговор не удаётся, приходится спешно снимать королевский плащ... но его уже видела в плаще влюблённая в него “товарищ Анна”. Пламенная революционерка, секретарь, она застреливается, а принц, видя своё поражение, переходит на сторону революции. Всё это удивительно “психологично”. Добавим к этому, что рабочие представлены как смутный фон... Нет, совершенно неудачная пьеса”.

А вот уже сборник стихов, зарубленный в 23-м: “Книги, просмотренные политотделом по выходе из печати. Распространение задержано. В. Катаев. “Первое, огонь!” Содержание крайне убого. Материал стар, есть нездоровая эротика. Ненужная книжка”.

Катаев и Булгаков

Всего вероятнее, с Булгаковым Катаев познакомился в “Накануне”. То, что в 22-м они бывали вместе в редакции, явствует из сохранившихся документов.

Они стали приятельствовать, и называли друг друга Мишунчик и Валлон.

Катаев приходил в комнату в коммуналке в доме на Большой Садовой, том самом, где обосновался Волянд: там Булгаков жил со своей первой женой Татьяной Лапой, не давшей погибнуть ему от морфинизма и выходив-

* Жозе Мария де Эредиа (1842–1905) — французский поэт кубинского происхождения.

шей от тифа. У них всегда можно было получить тарелку наваристого украинского борща и крепкий чай с сахаром внакладку. Сама Лаппа в конце жизни вспоминала: “Пирожков напекла, а пришли Олеша с Катаевым — всё полопали”. “Нас он подкармливал, — подтверждал Катаев. — У Булгаковых всегда были щи хорошие”.

Детский писатель Владимир Лёвшин, который в начале двадцатых был соседом Булгакова по “нехорошей квартире”, спросив себя: “Кто у него был?” — отвечал: “На моей памяти чаще всех — Валентин Катаев... С приходом Катаева почти всегда появляется на столе любимое обоими шампанское”, — и вспоминал, что Катаев в то время продолжал боготворить далёкого Бунина, “переводя на него разговор”: “Бунин для Катаева то же, что Париж для Эренбурга”.

Лёвшин был одним из позднее облагодетельствованных Катаевым, впрочем, под шампанское он выслушивал критику своих тогдашних литературных опытов и от соседа (деликатно), и от гостя (напрямик): “Катаев более категоричен. “Вы не умеете писать для детей!.. Вот как нужно: “Тёлочка, тёлочка, на хвосте метёлочка”. Образно и ничего лишнего”. И, очень довольный своим двустушием, улыбается по обыкновению хитро и ядовито. Ничего, впрочем, ядовитого в его отношении ко мне нет. Это ведь ему я обязан первой публикацией моих сатирических стихов в “Красном перце”. Он ввёл меня на так называемые “темные” (от слова “тема”) заседания “Крокодила”. Он же трогательно утешал меня после неудачной попытки пристроить один из моих рассказов в какой-то журнал: “Не унывайте! Бунин говорил мне: всякая рукопись непременно дождётся, когда её напечатают”.

Поначалу в Москве Булгаков бедствовал, но дела его стали выправляться (непрерывно писал для прессы). В комнате стоял настоящий письменный стол, заваленный бумагами, хозяин рассказывал в байковой клетчатой пижаме, а позже стал являться в редакцию в шубе без застёжек под названием “русский охабень” (по уверениям Катаева, отмечавшего провинциализм друга, однажды он пришёл в “Накануне” в шубе поверх пижамы).

Булгаков, как было сказано, с неудовольствием стал сотрудничать с примиренческой “Накануне”, которую не любили эмигранты и презирали коммунисты. До конца дней он сохранил в домашнем архиве вырезку, указывавшую на его радикально антибольшевистскую статью “Грядущие перспективы” 19-го года. Но главным для него было выживание при той власти, в прочности которой он не сомневался. В “Накануне” он был встречен “на ура”, печатался в каждом номере, очаровал сотрудников и читателей, а Алексей Толстой требовал из Берлина: “Побольше Булгакова!” Миндлин называл Булгакова и Катаева “самыми любимыми авторами читателей “Накануне””.

Булгаков сильно старше и, безусловно, консервативнее Катаева, всё же затронутого левым романтизмом, богемным бунтарством, пафосом ниспровержения авторитетов. Равнодушный к современной литературе, Михаил Афанасьевич с ровным жаром любил классику. “У него были устоявшиеся твёрдые вкусы. Он ничем не был увлечён, — вспоминал Катаев. — Тогда был нэп, понимаете? Мы были против нэпа — Олеша, я, Багрицкий. А он мог быть и за нэп. Мог... Вообще он не хотел колебать эти струны (это Олеша говорил: “Не надо колебать мировые струны”) — не признавал Вольтера”.

Катаевское неприятие нэпа носило, прежде всего, эстетический характер, но вновь уточнить: и материально, и стилистически нэп пригодился всей его компании. Существенно, что неприятие атмосферы нэпа не было увязано исключительно с “левой идеей”. Так, православный писатель Иван Шмелёв, ещё не уехавший из страны, отмечал: “Москва живёт всё же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрёт, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного”. Да и катаевская эстетика бывала весьма противоречива — так, РАИШовская критика злорадно подмечала за ним “социально-характерное” любование тем самым “уголком жизни”: “В частнокоммерческих магазинах висели брёвна осетров, которые сочлились жёлтым жиром. Восковые поросята лежали за стеклами Охотного ряда... Да, это была Москва. Это был нэп” (рассказ “Фантомы”).

В то время Катаев воспринимал Булгакова не как писателя, а как фельетониста, но нечто сближало их помимо литературы. Они, что называется, были “социально близки”. В альбом Кручёных вклеена общая фотография Катаева, Олеси и Булгакова 20-х годов с шуточным катаевским пояснением: “Это я, молодой, красивый, эlegantный. А это обезьяна Снукки Ю. К. Олеся, грязное животное, которое осмелилось гримасничать, будучи принятым в такое общество. Это Мишунчик Булгаков, средних лет, красивый, эlegantный”.

Катаев и Булгаков то и дело ночами ходили в казино (в нэпманской Москве действовали два игорных дома). “Судьба почти всегда была к нам благосклонна, — вспоминал Катаев. — Мы ставили на “чёрное” или на “красное”, на “чёт” или на “нечет” и почему-то выигрывали”. Катаев, очевидно, ходил в казино и в одиночку. “Однажды я выиграл 6 золотых десятков, — делился он с литературоведом Мариэттой Чудаковой. — Две я проел, а на 4 купил в ГУМе прекрасный английский костюм. Ну, прекрасный... Цвета маренго... Но не было ни рубашки, ни галстука, ни ботинок. (Смеётся). Ну, ничего, я носил свитер!”

Павел Катаев вспоминал: “Слушая папины рассказы о том, как можно было прийти в казино, поставить деньги — крепкие советские червонцы, выиграть и на выигрыш купить еды и выпивки на всю компанию, я испытывал чувство восторга и зависти. Как это ни странно (а может быть, вовсе и не странно, а вполне естественно), эти истории дышали свободой”.

Лёля

Накануне нового 23-го года Катаев, зайдя к Булгаковым, звал их встречать вместе Новый год. Булгаков сказал, что приглашён к Коморским, в просторную квартиру адвоката, где бывали разные литераторы и всегда хорошо угощали. Тогда Катаев обратился к Татьяне Лаппе: “Если он приглашён — пойдёмте в нашу компанию!”, — что Булгакову, конечно, не понравилось: “Вот ещё, какие глупости, ты ещё туда пойдёшь!”

А через неделю Катаев познакомился с Лёлей, двадцатилетней синеглазой студенткой, сестрой Булгакова.

Лёля — Елена Афанасьевна Булгакова — родилась 2 июня 1902 года в Киеве. Она училась в Киевском институте народного образования.

Булгаков пригласил Катаева в Сочельник. Характерно, что собрались “по старинке” встретить праздник Христова Рождества. Там и состоялось знакомство с девушкой, впервые приехавшей в Москву на каникулы. В углу стояла ёлочка. Катаев читал стихи.

Кстати, диссонансом с этими посиделками была демонстрация, прошедшая по улицам Москвы 7 января 23-го. Впервые отмечалось “комсомольское рождество”. Ряженые несли пятиконечные звёзды и плакат: “До 1922 Мария рожала Иисуса, а в 1923 родила комсомольца”. Между тем, Булгаков и Катаев были близки и по “религиозной генеалогии”: у обоих деды — священники, а отцы — очень набожны и даже внешне похожи на “духовных лиц” (Афанасий Булгаков — богослов и историк церкви).

Начался свидания с Лёлей: “Мы смотрели в театре оперетты “Ярмарку невест”, и ария “Я женщину встретил такую, по ком я тоскую” уже отзывалась в моём сердце предчувствием тоски”.

Был лютый мороз. Там, у Патриаршего пруда, где однажды возникнет Воланд, “возле катка у десятого дерева с краю”, зачем-то обмотанного “колочкой”, они целовались.

“Это дерево — моё, — написал он по свежим следам. — Возле него она сказала мне: “Люблю”. За последние пять лет никто не говорил мне ночью, в снегу, возле колочей проволоки, у чёрного ствола дерева “люблю”. Мне кричали “стой”, меня расстреливали, раздевали, били рукояткой револьвера... Но “люблю”...”

“Наши губы были припаяны друг к другу морозом”, — написал он спустя больше полувека.

Он простудился на этом свидании возле бешеного катка, который температурно сверкал и кружился в нескольких стихотворениях 23-го года:

*Готов! Навылет! Сорок жара!
Волнение. Глупые вопросы.
Я так и знал, любовь отыщется,
Заявится на Рождестве...*

Лёля, пробыв в Москве около недели, должна была уезжать. “В последний раз её синие глаза отразились в моём холостом зеркале... В последний раз она сидела у меня на коленях в сереньком мохнатом свитере, и в последний раз я целовал её полное горло”.

Катаев провожал Лёлю на Брянском вокзале, ожидая её возвращения через несколько месяцев, и твердил: “Не уезжай”. “Не уезжай. Мне нужна хорошая жена и добрый друг. Я устал. Не уезжай”.

В отсутствие Лёли он пошёл к “Мишугу” и сообщил, что желает взять её в жены.

“Катаев был влюблён в сестру Булгакова, хотел на ней жениться, — вспоминал писатель Юрий Слёзкин. — Миша возмущался. “Нужно иметь средства, чтобы жениться”, — говорил он”.

Вот как Михаил Афанасьевич (“Иван Иванович”) показан у Катаева в рассказе того времени: “Он гораздо старше меня, он писатель, у него хорошая жена и строгие взгляды на жизнь. Он не любит революции, не любит потрясений, не любит нищеты и героизма”.

В сущности, этот ретроград бессердечен: “Он хватает ручку и начинает быстро писать на узенькой бумажке рецепт моего права на любовь. Он похож на доктора. Две дюжины белья. Три пары обуви (одна лаковая), одеяло, плед. Три костюма, Собрание сочинений Мольера, дюжина мыла, замшевые перчатки, бритва, носки и т. д. и т. д. и Библия.

— Два года минимум. Вот-с выполните этот списочек, и тогда мы с вами поговорим.

Да, ещё одна вещь. Он совсем и забыл. Золото, золото. Золотые десятки. Это самое главное. О, я преклоняюсь перед золотом. Купите себе, ну, скажем, десять десятков. Тогда с вами можно будет поговорить даже... о сестре. Он уверен, что это невыполнимо.

Бедняга. Он мечтает об Америке и долларе”.

Но Катаев не обличал приятеля: “Посмотрим, кто из нас американец. У меня нет ничего, но у меня будет всё... Я разночинец, у меня нет быта и правил, нет семьи, нет ничего, кроме молодости, закалённой дочерна в пламени великого пятилетия...”.

Он как бы подтверждал желчный бунинский диагноз, но высвечивал не наглость, а драму “разночинцев”, которых эпоха перемен закрутила и “закалила дочерна”.

Любопытно, что Булгаков рассуждал так же, как десятью годами ранее противники его собственной женитьбы: беспечность, легкомыслие...

По Катаеву, он писал письма и слал телеграммы Лёле. Потом отправился к ней. Они гуляли по Киеву, посетили Лавру, спустились в пещеры. И сожгли написанное друг другу:

Затвор-заслонка, пальцы пачкай.

Пожар и сажка вечно снись им.

Мы разрядили печку пачкой

Прочитанных любовных писем.

Другое стихотворение так и называлось “Киев”:

Перестань притворяться, не мучай, не путай, не ври,

Подымаются шторы пудовыми веками Вяя.

Я взорвать обещался тебя и твои словари,

И Печерскую лавру, и Днепр, и соборы, и Киев.

Рассказ о неудавшейся любви заканчивался ледяным обращением к Булгакову: “Иван Иванович, не беспокойтесь, опасность пока миновала. Ваше-

му семейству не удержите разгром. Спите спокойно, мечтайте о долларе, а в свободное от этих занятий время американизируйтесь. Кстати, у вас уже починили крышу? Только, пожалуйста, не учите меня больше жить. Отныне я буду жить сам”.

Та же история в интерпретации Татьяны Лапы: “Был у неё роман с Катаевым. Он в неё влюбился, ну, и она тоже... Стала часто приходиться к нам, и Катаев тут же. Хотел жениться, но Булгаков воспротивился, пошёл к Наде (другая сестра. — С. Ш.), она на Лёлю нажала, и она перестала ходить к нам. И Михаил с Катаевым так поссорились, что разговаривать перестали. Особенно после того, как Катаев фельетон про Булгакова написал — в печати его, кажется, не было, — что он считает, что для женитьбы у человека должно быть столько-то пар кальсон, столько-то червонцев, столько-то ещё чего-то, что Булгаков того не любит, этого не любит, советскую власть не любит... ядовитый такой фельетон...”.

Татьяна путала — рассказ напечатан был. Впервые под названием “Печатный лист о себе” он вышел в литературном приложении к газете “Накануне” 15 апреля 1923 года, а под названием “Медь, которая торжествовала” был включён в сборник рассказов Катаева “Сэр Генри и чёрт” (Книгоиздательство писателей в Берлине, 1923).

Но есть все основания полагать, что на этом отношения Катаева с Лёлей не прекратились.

Летом 24-го, окончив свой институт, она переехала в Москву, поселилась у сестры Нади, устроилась библиотечкарем в школе, познакомилась с преподавателем Педагогического института Михаилом Светлаевым, приятелем и коллегой сестриного мужа. Лёля стала Светлаевой в 25-м. Катаев женился ещё в апреле 23-го, через несколько месяцев после разрыва.

Похоже, его встречи с Лёлей продолжались, и это ей он писал поэму “Вторая молодость”:

*Я шпагу свою оставил в плену,
И сердце под клёном лежит в плену...
Не шпагой клянусь и не сердцем клянусь,
А жизнью своей клянусь:
Я буду любить до потери себя
Твои голубые глаза.*

Лапа, с которой Булгаков решил развестись в апреле, а окончательно расстался в ноябре 24-го, вспоминала: “А на другой день вечером пришёл Катаев с бутылкой шампанского — в этот день должна была прийти сестра Михаила Лёля, он за ней ухаживал”. Кстати, о годах катаевского романа с Лёлей Татьяна тоже говорила, называя 23-й и 24-й.

В катаевском романе 24-го года “Остров Эрендорф” американец Джими пытался вернуть возлюбленную по имени Елена, одурманенную опытным гипнотизёром, напоминая ей пережитое в городке Нью-Линкольне: “Мне снилось замерзшее озеро и косые фаланги конькобежцев, выбегавших из грелки... Мне снилось десятое дерево, если считать от калитки в глубине сада... Возле этого дерева... если вы помните... мы однажды с вами...” Девушку расколдовывали именно эти слова. И вот уже: “Джимми нежно обнял Елену и положил её голову себе на плечо.

— Елена не надо ни о чём думать. Елена... Елена... Как я люблю повторять это милое имя”.

А в пьесе “Квадратура круга” 28-го года женатый Вася говорил замужней Тоне: “А то дерево на Патриарших прудах помнишь? Десятое с краю, если считать от грелки?... Я ведь потом всю ночь напролёт... Ты знаешь... А на другой день, как ошалелый, по всей Москве... А ты — такая самая, как была... Куда ты пропала?”

Такая вот фетишизация дерева с Патриарших...

Ясно одно: любовный роман завершился неудачей, и это испортило отношения Катаева с Булгаковым, помешавшим его “личному счастью”.

Зато в 30-е Катаев не без мстительного удовольствия демонстрировал

“Мишунчику” (а через него и Лёле) свою большую житейскую удачливость: слава, благополучие, красавица жена.

Американская мечта!

В 29-м Лёля родила дочку. С начала войны, с 41-го по лето 43-го она жила в Новосибирске, где с утра до вечера работала педагогом в нескольких местах, в конце 40-х получила инвалидность с диагнозом “устойчивая гипертония”. Елена Афанасьевна умерла в Москве 3 мая 1954-го на пятьдесят втором году жизни от мозгового кровоизлияния.

Мадам Муха

Ранней весной 23-го года Катаев датировал встречу с Маяковским, наконец-то перешедшую в общение. “Целый год до этого я прожил в Москве и ещё не знал его”.

Олеша вспоминал: вскоре после переезда в Москву они уже встречали Маяковского на Рождественском бульваре, но не окликнули и до конца не понимали, он это был или нет. По словам Эрлиха, Катаев “настораживался при виде каждого высокого и энергично шагающего человека: вдруг это Маяковский!” Теперь он столкнулся с Маяковским в районе Лубянки лицом к лицу. “Я решился и остановил его: “Вы Маяковский? Я ваш поклонник, я поэт”. Он дал мне свой адрес, пригласил к себе. Когда я пришёл, хорошо принял. Познакомил с Асеевым, Пастернаком”.

Всех их сближала одна территория, которую Катаев уже нагло называл своей “вотчиной”.

Маяковский жил на два дома, но в одном районе: в Водопьяном переулке, ныне не существующем, — с Лилей Брик, там, где свили гнездо ЛЕФовцы, — и в Лубянском проезде.

Асеев жил на Мясницкой, на девятом этаже, во дворе ВХУТЕМАСа, с золотисто-рыжей женой Оксаной, одной из пяти харьковских эксцентричных сестёр Синяковых, дочерью черносотенца и “прогрессистки”*.

Пастернаку ВХУТЕМАС был родным домом: с 1894-го долгие годы они обитали там — во флигеле, а затем в казённой квартире при тогда ещё Училище живописи, ваяния и зодчества вместе с отцом-преподавателем (между прочим, уроженцем Одессы).

Итак, в апреле 1923-го Катаев женился. Как полагали некоторые — спешно и в отместку Лёле Булгаковой.

Анна родилась 8 июля 1903 года в Одессе на Коблевской улице в семье коллежского секретаря Сергея Сергеевича Коваленко и Анны Николаевны Филипповой.

Анна Сергеевна говорила на четырёх языках, стала художницей. В 19-м году её родители слегли с тифом в одну больницу. Отец умер, мать выжила.

За Анной ухаживал брат Ильфа — художник Михаил Файнзильберг. Была она строга, с колючим характером, но он говорил: “Я точно знаю, кто тебе подойдёт”. У неё было прозвище Муха. Ещё её называли Мусей.

Она участвовала в “красном” “Коллективе художниц” и помогала украшать плакатами город. С подругами в 20-м они заматали кумачом памятник Екатерине, превратив в своего рода коммунистическую мумию.

Брат Сергей, ставший механиком, то и дело передавал провиант — хлеб, колбасу, сыр — для её друзей-богемцев, как он выражался, “босяков”.

На вопрос: “Как вы революцию пережили?” — Анна отвечала: “Танцевали...”

Перебраться в Москву её уговаривали настойчиво... Катаев помогал ей. Как она вспоминала, передавал гонорары от одесских публикаций через Бабеля.

* Лиля Брик писала: “Во всех них поочередно был влюблён Хлебников, в Надю — Пастернак, в Марию — Бурлюк, на Оксане женился Асеев”. Асеев был уже верным “соратником” Маяковского (по определению Катаева), отдалившись от Пастернака, “соратником” которого был до того.

По многу раз призванные послания в Одессу отправляла тройка друзей: Катаев, Олеша, Ильф*.

18 марта 23-го года Ильф писал: “Дорогая Муся, Ваше время настало. Не отнеситесь к тому, что Вы сейчас прочтёте, легкомысленно. Ибо это важно по многим причинам для меня, а Вам будет полезно. Дорогая Муся, кидайте Коблевскую улицу, на которой Вы живёте, ибо нет смысла на ней жить, если есть Чистые пруды. Нет расчёту жить на юге, если Москва расположена в центральной полосе России. Прекрасное настоящее и изумительное будущее Вам обеспечено. В этом порукой линии Вашей и моей руки. Я не напишу ничего больше того, что написал. Соберитесь с мыслями и езжайте”. К письму был приложен его рисунок с объяснением: “Муся, это Страстной монастырь**. Самый лучший в мире”. В том же конверте находилось письмо Олеша: “Милая Муся! Нет спасенья: нужна помощь, нужен друг, кусок прошлого, кусок Одессы, сердца. Муся Коваленко, чудесная свидетельница моих лучших дней, милая современница самой счастливой поры моей жизни, — приезжай к нам в Москву. Что тебе терять в Одессе? Приезжай к нам... Здесь Катаев, Ильф и я. Только ты осталась, больше никого нет в мире. Это всё серьезно. Это настоящая просьба. Приезжай, утешительница. Ждём. Ждём. Просим. Целую ручку. Юра”.

А вот и жених: “Дорогая Муся. Пишу от имени троих. Твоё письмо получено 5 минут тому назад. Решение твоё приветствуем. 2 миллиарда, которые тебе необходимы, будут высланы не позже пятницы 6-го апреля по телеграфу. Покунай только самое необходимое, остальное устроится здесь. День приезда телеграфируй точно — встретим. Лирическую часть откладываем до встречи. Сейчас торопимся: Маяковский читает новую поэму “Про это” (об отвергнутой любви). Целую лапы. ВалКатаев”.

Когда Анна перебралась в Москву, сразу и поженились.

В начале мая Катаев сообщал её матери в Одессу: “Честное слово, я не знаю, как в таких случаях надо писать, в общем, я женился на Мусе. Как это произошло, я до сих пор не могу как следует понять. Не знаю, известно ли Вам, что года 2 тому назад я был страшно влюблён в Мусю. Муся тоже была ко мне в достаточной степени нежна. Сейчас эта старая нежность развилась с такой силой, какой ни я, ни Муся от себя не ожидали. Я уверен, что Муся будет мне хорошей женой и добрым другом, а я её очень люблю. Сейчас мы счастливы всерьёз и надолго. Мне хочется быть Вашим нежным сыном — ведь у меня нет ни отца, ни матери. Хорошо?”

“Я привязалась к Вале и люблю его, — в июне писала матери Муха. — Если бы ты знала, какой он милый, он совсем как большой ребёнок”.

Катаев стал посылать Анне Николаевне шуточные отчёты о налаженности их быта, сопровождая выразительными картинками: ножи, вилки, ложки, щётка, шкаф, кушетка, этажерка, “завёл себе текущий счёт в Госбанке”... “Теперь, если вы, мамаша, хотите узнать за свою дочку, многоуважаемую Мусю, — юродствовал он, — то прошу вас убедиться в этом”. Под изображением рта и зубов было написано: “Что это т-т-такое?” — и следовала перевёрнутая разгадка: “Мухины грязные зубы”. “Впрочем, — уточнял зять, — Муха только что побегала чистить зубы несмотря на то, что мы ей клялись, что сегодня будний день и вообще ничего похожего на двенадцатый праздник”.

“Муха лежит, — сообщал он Анне Николаевне в другом письме. — У неё болит животик, и она сейчас будет пить слабительное. Она ужасно морщится и капризничает, а потому написать не может. Мы счастливы вполне, сильнее, чем вчера и позавчера, а завтра и послезавтра будем ещё счастливее. Даже удивительно, за что нам такое счастье”. “Живу под боком у семейного счастья”, — вторил Катаеву Олеша.

В другом письме Анне Николаевне Катаев превращался в персонажа какого-нибудь своего фельетона: “Хочу пальто с большим выдровым воротником. Хочу большие и красивые боты. Хочу перчатки. Хочу синий костюм. Хочу костюм маренго. Хочу часы. Хочу портсигар. Хочу визу в Италию. Хо-

* Письма из личного архива Людмилы Коваленко.

** Разрушен в 1937-м.

чу телефон. Хочу пианино. Хочу самовар. Хочу выкраситься в рыжий цвет. Хочу спать”.

Анне Николаевне жилось трудно. “Сейчас у меня большие неприятности с квартирой, опять обложили не по силам как нетрудовой элемент, — жаловалась она дочери. — Говорят, если вы не можете платить, идите жить в подвал и освободите нам квартиру, я буквально не в состоянии бороться...”

Гонорары от своих не только одесских, но и киевских, и харьковских публикаций Валентин Петрович отдавал теще: “Вообще я решил, что все деньги с провинции будут идти на Ваш счёт”.

Муся же фигурировала в нескольких письмах из Москвы Семёна Гехта. 22 ноября он сообщал своей подруге, тоже из “Коллектива художниц” Генриетте Адлер*: “Милая, дорогая, родная Генриетта, ваше последнее письмо доставило мне много радости. Я получил его 19-го. Я как раз был у Катаева. Сидели: Катаев, Муся, Иля и я. Катаев захлёстывал Мусю экспансивными поцелуями (он это делает с 4-х часов дня до часу ночи — публично). Иля сидел мрачный — нет писем, и всё такое. Я сидел тоже мрачный — день был чересчур неприятный. И вот — лёгкий стук в передней комнате. Письмо грохнуло о жёсть, ящик свистнул, почтальон ушёл. — Друзья, письмо! — сказал Катаев. — Это от мамы! — крикнула Муся. — Это мне! — процедил сквозь зубы Иля. А я молчал. Иля бросился к ящику, выловил письмо и произнёс вяло:

— Это для Гехта”.

“Я женился на своей старой любви — Анне Сергеевне Коваленко, в которой нашёл доброго товарища и нежную жену”, — писал мастер “экспансивных поцелуев” в автобиографии 1924 года.

Вскоре он поселил у них Мухину сестру Тамару, приютил надолго и Анну Николаевну.

В Москве Муся нарисовала автопортрет в воображаемой пышной шубе. На эту шубу копили. Летом они жили в съёмном домике в Тарусе. У соседки, матери четырёх детишек, подохла корова-кормилица. И Катаев предложил отдать бедной бабе накопленное: “А шубу ещё купим!” И отдали...

Временами Анна возвращалась в Одессу.

5 июня 1924 года Катаев писал ей: “Ты себе не представляешь, что делается! Везде мечутся писатели, у которых абсолютно нет монеты. Жалкое зрелище. Я буду по возможности чаще переводить тебе деньги, но не ручаюсь. Мне бы ужасно хотелось поцеловать твои родинки на спинке. Целую тебя всю, всю, всю... Тамара — знаменитая хозяйка. В тысячу раз лучше тебя. Она делает солёнку на сковороде и окрошку, и расстегаи, и вагон других вкусных вещей. У нас есть много клубничного варенья. Сегодня к нам, наверное, придёт Танюша ех-Булгакова, которая будет рыдать в жилетки”.

“Дорогая и самая красивая! — писал ей Олеша. — Твой муж начал курить плохие папиросы, заводит подозрительные знакомства, в котором обществе и пьёт “трёхгорное”. Увязался за моей девочкой (Нюрка, ты её не знаешь, это из прошлого) и тратится на неё, продавая последние стаканы. Дурак! Ты не веришь, но это горькая правда. Тамара угощает отвратительной солёной, в которой тараканы трещат, как кости, и бегаёт гулять на Чистые. У меня романчик с Вашей новой прислугой. Я на ней женюсь. Целую тебе глаз. Приезжай поскорее, если хочешь застать хоть какие-нибудь крохи с таким трудом налаженного хозяйства. Твой верный друг Юра”.

“Боже, Мухачка, не верь ни одному слову, он всё врёт, — на том же листе взывала к Анне её сестра. — Валя не курит, знакомства ни с кем не заводит, не пьёт, и совсем он не дурак. Я тараканов не варю (и больше ему обедать не дам), на Чистые не хожу и посторонним мужчинам ухаживать за моей прислугой не позволяю. И потом, какая ты ему дорогая? С тем, что ты самая красивая, я с ним солидарна. Ой, Боже мой, ещё Женя хочет писать, не верь миленькая ни одному слову”.

“Тебе передают знакомые, что я пью, — вскоре писал и Катаев. — Это очень мило с их стороны. В своё время те же самые знакомые передавали

* Будущей жене литератора Сергея Бондарина (1903–1978).

в Одессе о нашей бездумной роскоши и кутежах. Тебе бы, кажется, пора привыкнуть к тому, что 1/2 фунта голландского сыра и бутылка пива, проделав 1400 верст, превращаются, по крайней мере, в 5 фунтов рокфора и дюжину шампанского... Три фельетона в неделю — это приводит меня в отчаяние. В лавку мы должны к сегодняшнему числу 100 рублей. Ты отлично знаешь, что если я получаю одновременно: 1) от тебя унылое письмо с требованием денег на костюм + 2) записку от лавочника, что больше в долг не даёт; 3) счёт за свет; 4) счёт за воду и квартиру, то писать я не могу... Да, пью. Иногда. Бутылочки три на всю компанию. Удовлетворена? Ты видишь меня “бледного и с головной болью”. Бывает. Особенно, когда получаю твои мучительные письма... То, что я редко пишу тебе, понятно. Ведь за эти писания мне ни один издатель до моей смерти или юбилея не заплатит ни копейки”.

Муха, отчитываясь Валентину о жизни в Одессе, передавала разговоры с “пышной свитой”: “Я узнаю, что я москвичка, художница, богачка и что у моей приятельницы и у меня “богатый бюст”. Кроме того, я узнаю массу интересных новостей о себе, о Москве, о моём муже”, — и сообщила, что на пляже к ней подошёл Остап Шор (в будущем вероятный прототип Остапа Бендера): “Я всем ответила, как поживает знаменитый Катаев и когда он приедет”.

Московские постояльцы, конечно, утомляли и разоряли. К Петрову литературный успех пришёл не сразу, и Валентин даже подумывал отправить Женю восвояси. 27 июля 24-го года в письме жене он предлагал решительно “попросить” и её сестру, и своего брата: “Я сделался, не заметив этого, мелкой газетно-журнальной сошкой. Я за последний год ничего не написал настоящего. Меня это так мучит, что нельзя передать, ты должна понять меня, это так больно. Сейчас я чуть не плачу от этого. Видишь — я с тобой откровенен до конца. Максимум, что я могу зарабатывать в месяц, — это 150 рублей, и это при невероятном напряжении (и отчаянной халтурой!). Значит, вопрос стоит так: Тамару и Женю надо ликвидировать. Я их очень люблю, но тебя и себя я люблю больше. Тут ничего не поделаешь. Ах, если бы ты знала, как мне хочется, чтобы мы с тобой были одни. Ты понимаешь, как это чудесно. А то мы любим друг друга, как мыши. Я уверен, что оттого мы и соримся, и бываем недовольны друг другом. Муха, дружок мой, ответь мне сейчас же, что ты думаешь на этот счёт. Но имей в виду, что никаких компромиссов тут быть не может. Я измучился, измотался. Я не могу даже читать. А ведь время идёт, и возвратить его нельзя. Ведь ты не хочешь, чтобы я сделался злым, желчным, грубым “отцом семьи”, вытягивающим на своей шее много народу? Я предлагаю такую вещь: при первых же крупных деньгах Тамару — в Одессу, а Женю — в Полтаву. Тут нельзя сентиментальничать... Я ни Жене, ни Тамаре об этом не говорил, и мне трудно заговорить об этом. Пока буду молчать. А потом, когда будут деньги, — само устроится. Это категорическое моё решение”.

Видимо, не случайно тогда же тревожная тётя Лиля писала Евгению из Полтавы: “Если бы ты почему-либо захотел уехать из Москвы, то приезжай к нам, где ты найдёшь всегда любовь, уют, ласку и заботу... Я опасаясь, что Москва окончательно обескровит тебя и возьмёт все силы. Целую тебя, будь здоров, сыт, весел (и не забывай ходить в баню)”.

Но изгнание так и не состоялось.

В другом письме жене Катаев давал бой её тревогам, высмеивая некогда любимую “синеглазку”: “Вчера был хорошенький номерок: у нас была в гостях Лёля Булгакова вместе с Татьяной Николаевной Булгаковой. Фурор был необыкновенный. У Лёли лупится нос. Она очень толстая, красная, некрасивая и усатая. Она очень хотела посмотреть на тебя хоть одним глазком. Я ей посоветовал специально съездить в Одессу. Лёлин визит показал мне достаточно наглядно, что от прошлого не осталось даже пепла. Лёля флиртует напрадую с какими-то лётчиками, летает и вообще режется на авиационную даму. Татьяна Николаевна мучительно разводится с Мишунчиком. Сегодня, кажется, Лёля уезжает в Киев. Мне бы не хотелось, чтобы ты, Муха, хоть на волосок ревновала. Не надо. Я люблю только тебя. Это как новая экономическая политика — всерьёз и надолго”.

(“Я совершенно развинчен, — напишет он спустя пять лет жене, отдыхающей в Тарусе. — Хотя бы влобиться в кого-нибудь! Кстати, Лёля Булгакова, мне говорили, или родила, или должна рожать, или что-то в этом роде.”)

Тётя Лиля приезжала часто и надолго; от неё у Коваленко осталась настольная лампа с тремя мраморными ангелочками. В голодную Полтаву Елизавета Ивановна возвращалась с огромными мешками.

В 1982-м во время тяжёлых родов под наркозом внучка Катаева Тина увидит женщину в старинном платье и шляпке. Потом по описаниям она поймёт, что это была Елизавета Бачей, и назовёт дочку Лизой.

В 26-м в Одессе у брата Анны Сергея в браке с гречанкой (из семьи зажиточного кондитера) Марией Харлампиевной Триандафилиди родилась дочь Мила. Гречанка умерла, когда девочка была совсем маленькой. “Ходить меня научила собака Фрина”, — с горьким юмором говорила она.

Катаев и Анна приняли решение забрать её к себе (Валентин увидел Милу в 27-м, когда остановились в Одессе проездом из Сорренто, и шутливо предложил её отцу: “Продай мне эту девочку”).

Почти десять лет Катаев воспитывал девочку и заменял ей отца.

“Валя” называла она его, как сверстника.

По утрам он ел любимую овсянку, мокрый от умывания, в сыром свитере, от которого пахло собакой после дождя, а она сзади обнимала его за шею. “Валя, как ты можешь есть эту гадость?” — спросила девочка. Он отправил в рот ещё две ложки, отодвинул тарелку и больше при Миле к каше не притрагивался.

Мадам Муха хорошо готовила, как и её мать. Та вообще со временем затеяла “кухмистерскую”, где питались литераторы, в их числе её стол ценил Алексей Толстой, заявлявший: “Никто в Париже не умеет так готовить рябчиков!”

“Хлебосольная тёща и симпатичная Аннушка, безропотная его супруга, всегда были рады гостям”, — поделился очевидец*. В романе “12 стульев” Мусик — жена инженера Брунса, суровая, но заботливая, а муж её, у которого “наливные губы” и “голос шаловливого карапуза”, восклицает ставшее афоризмом: “Мусик!!! Готов гусик?!”

Она есть и в “Фантамах”: “Сейчас второй час ночи. Слева от моего стола, свернувшись калачиком, спит жена. Под розовую щёку она положила ковшиком обе руки и, уткнув круглый, детский нос в подушку, обиженно сопит и сладко жуёт губами”.

Этот рассказ был напечатан в январе 24-го в трёх январских номерах “Накануне”. Катаев вспоминал, что вначале пытался напечатать его в журнале “ЛЕФ”. “Я читал его у Бриков, в присутствии Маяковского. Было это вроде заседания редакции. Планировали в номер, маленькие поправки сделали”. Но не пошло — возможно, отсюда взялась взаимная неприязнь Катаева и жильцов Водопьяного. Видимо, для эмигрантского “Накануне” “декадентский” рассказ годился больше, нежели для радикального “ЛЕФа”, который обещал “давать образцы литературных и художественных произведений не для услаждений эстетических вкусов, а для указания приёмов создания действительных агитационных произведений”. Впрочем, Асеев упоминал “Валентина Катаева, печатавшего в “ЛЕФе” свои стихи, которые он потом превратил в прозу”, например, в 4-м номере “ЛЕФа” за 23-й год была напечатана не самая типичная для Катаева “Война” (“Ночь передёргивала карты у судорожного костра...”), на которую близкий к акмеизму литературный критик из Берлина Вера Лурье отозвалась так: “Честные акмеистические стихи Катаева напоминают Гумилёва, сдобренного Пастернаком”. Маяковский (вопреки теориям и декларациям) всё же старался привлечь к журналу самых ярких авторов, даже Есенина.

Катаев и Коваленко расстались в середине 30-х...

Мила-Людмила рассказывает, что однажды летом, приехав в Москву с дачи, Анна Сергеевна обнаружила в каждой комнате “вертеп разврата”, и будто бы тогда, будучи “дамой крутого нрава”, вопреки всем просьбам мужа, с ним порвала...

Расставались тяжело, вслед в окно летела медвежья шкура... Основную часть вещей забирал для Катаева Кручёных. Правда, золотое кольцо с бриллиантом навсегда осталось с ней. Она работала ретушёром, и родные запо-

* Из рассказанного художником Владимиром Роскиным (1896–1983).

нили её постоянно согнувшейся над столом. Катаев отдал ей квартиру (тогда уже другую, из пяти комнаток в Малом Головином переулке, 12, куда переехали из Мыльниково). Хотел помогать материально, но она упрямо отказывалась. Стала сдавать половину квартиры молодым архитекторам.

(Дочь Катаева Евгения рассказала мне, как в 50-е гуляла с отцом и возле “Елисеевского” он приветливо пообщался с какой-то женщиной, а потом сообщил: “Моя бывшая жена”. Дома Женя принялась расспрашивать мать: “У папы была другая жена? Почему же они развелись? — Она была жуткая зануда. Что ни случалось, она только и ныла: “Все плохо”, “Ой, бедный”, — вот ему это всё и надоело”).

Первые два года после развода Анна была совершенно без сил, по выражению её племянницы, *никакая...* В 39-м вышла замуж за верного ухажёра — художника Владимира Роскина, оформлявшего советские выставки за рубежом, который в 1919–1922 годах вместе с Маяковским принимал участие в создании “Окон РОСТА”. Роскин влюбленно кружил возле неё с момента её появления в Москве.

Однажды Катаев пришёл в Головин переулок на рассвете, пьяный, постучал в окно, но мать Роскина Вера Львовна не пустила: “Уходите, у неё есть муж”... Анна, узнав об этом, не смогла простить свекрови, навсегда перестала разговаривать с “ведьмой”... “С этого всё пошло наперекосяк”, — говорит Мила Коваленко, — отношения Анны с Роскиным начали рассыпаться, хотя брак их продлился всю жизнь...

В сборнике “Отец” 1928 года поэтическая подборка открывалась посвящением “Анне Катаевой” стихотворения о бронепоезде гражданской войны:

*И только вьюги белый дым,
И только льды в очах любой:
— Полцарства за стакан воды!
— Полжизни за любовь!*

Среди этой же подборки был цикл стихов “Любовь”, посвящённых Лёле, и там, в стихотворении “Возвращение”, под цифрой V присутствовала “другая”:

*Чиркнула спичка: зажётся глаз,
Цыганское пламя и платье. Тьма.
Другая спичка: серья зажглась,
И ухо, и рот. Она сама.*

*Третья спичка: шея и шёлк.
Ожог поцелуя. Колода карт.
— Зачем забыл? Зачем пришёл?
На что тебе Петровский парк?*

*Я знаю всё: ты уезжал,
Любил другую, изменил...
Огонь, как зубы, уголь сжал
И тлел сквозь зубы: и-з-в-и-и-и.*

*— Задуй огонь. В окне луна.
Старухи нет. Постель для двух.
Ты мне жена, ты мне нужна.
Мне нужен сон и нежный пух.*

*И до зари взасос укус,
И до зари — укус взасос.
И до зари — цыганский вкус
Солёных глаз и сонных слёз.*

Быть может, это Анна предстаёт здесь в образе цыганки: “Ты мне жена...”. Ну а в Петровском парке находился “Яр”, куда он был не прочь смотаться. Кстати, стихи Катаева (в том числе и посвящённые Лёле), написанные его рукой и напечатанные на машинке с его правкой, Анна хранила всю жизнь.

Людмила Коваленко вспоминает, что в детстве её мучили страхи: “Хотелось сжаться в комок, быть незаметной и никому не мешать, поэтому и моё любимое слово было “нет”. Валя даже написал глупый стишок: “Наша Милка, как кобылка, надоела она мне, что ни спросишь, отвечает она: “Не””. Ну, и потом, когда мы остались одни, без Вали, вся наша жизнь изменилась, до сих пор ещё больно...”

В свои девятноста она с необычайной ясностью, затягиваясь сигаретой и поблёскивая бриллиантами того самого золотого кольца, рассказала мне про Вало, который развлекал её стихами, держал шкуры в разных комнатах (тигриной она боялась), катал её на извозчике, водил на Страстной бульвар, где сажал на верблюда, который однажды, чем-то разгневанный, оплевал его с ног до головы. И весь в верблюжьей зловонной и тягучей слоне Валя бежал с девочкой по бульвару... Отмывшись, он сидел в кресле, вытянув ноги к печке, а она сидела на его ногах, и они, хулиганы-заговорщики, разбирали по деталям небольшие настенные часы... Катаев выкинул несколько колёсиков в огонь, потом Анна Николаевна принесла часы к мастеру чинить...

“Милка” пришла к нему на юбилей — 50-летие. Обнялись, заплакали. Повисла на нём, вдыхая знакомый запах одеколona, который помнит всегда... Анна Сергеевна Коваленко умерла 26 августа 1980 года.

Возвращение Толстого

22 мая 1923 года в Москву из эмиграции на короткое время приехал Алексей Толстой и в тот же вечер отправился к Катаеву.

Другой, тоже майский, торжественный приём Толстого изображён Булгаковым в “Театральном романе”: “Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взглядом пиршественный стол:

— Га! Черти!”

“На Мыльниковом было большое пьянство, — сообщал Ильф в письме своей возлюбленной Марии Тарасенко, — и когда все сильно перепились, и Алексей Толстой стоя рычал что-то, ко мне приполз Катаев и серьёзно и трогательно пил со мной, и неожиданно и мило пил твоё здоровье и твою любовь...”

Олеша вспоминал о Толстом: “Он первых посетил именно нас... Я помню, он стоит в узенькой комнате Катаева в Мыльниковом переулке, грузный, чем-то смешавший нас... Вероятно, подвыпивший, получает информацию, неправильно её истолковывает, подлизывается слегка к нам...”

Возвращение Толстого (в августе он вернулся насовсем) и всё дальнейшее пребывание его на родине часто толкуют как проявление сплошного конформизма. Считается, что привыкший жить в своё удовольствие, он приехал обратно за богатством и комфортом и превратился едва ли не в эталон циника. Он стремился жить хорошо, это правда, но его *хождение по мукам* идейных противоречий почти не обсуждается или выдаётся за что-то несерьёзное. Литератор-эмигрант Фёдор Степун признавался: “Мне лично в “предательском”, как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда”, — и добавлял, что Толстой, несмотря на большой риск возвращения в Россию, “бежал в неё, как зверь в свою берлогу”. Родная земля держит...

Именно тогда, в начале 20-х, по мнению историка Михаила Агурского, тщательно изучавшего “сменовеховцев”, сформировалась и окрепла выстрадавшая, пускай для кого-то и идеалистичная, позиция Толстого, которой он был верен до конца. “Толстой призывает делать всё, чтобы помочь революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго, справедливого, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесённого той же революцией и, наконец, в сторону укрепления великодержавности”. Да, подчас у Толстого наивность идей мешалась с барственностью манер, но отрицать искренность его упований тоже неверно. Идеи Толстого были выражены в романе “Аэлита” (1923), где противопоставлялись дух и пресыщение, простолюдины и элитарии, Зем-

ла — “красная Россия” и Марс-Запад с пауками в подземельях, ждущими своего часа, чтобы покорить деградирующую цивилизацию.

Ещё в 22-м Толстой писал белоэмигранту Николаю Чайковскому, возражая против упреков в предательстве: “Задача газеты “Накануне” не есть, как Вы пишете, борьба с русской эмиграцией, но есть *борьба за русскую государственность*... восстановление в разорённой России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России. В существующем ныне большевистском правительстве газета “Накануне” видит ту реальную, — единственную в реальном плане, — власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления её иными странами”.

После возвращения Толстой осваивался, пытаясь опереться на “родственные души”, и уже не столько организационно, для каких-то дел, сколько для себя самого, психологически. “Что бы я там (в “Окаянных днях”) ни писал, однако я всё же не предлагал загонять большевикам иголки под ногти, как рекомендовал в ту пору в одной из своих статей Алёша Толстой”, — бросил ему вслед Бунин. Но при исключении Толстого из белоэмигрантского “Союза русских литераторов и журналистов” Бунин воздержался (Куприн, который вернётся в советскую Россию в 37-м, единственный был против!), ну, а спустя почти двадцать лет, перед самой войной Толстой направил в Кремль письмо с такими словами: “Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей: мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?”

27 августа 1923 года Булгаков записал в дневнике: “Только что вернулся с лекции сменовеховцев... Сидел рядом с Катаевым. Толстой, говоря о литературе, упоминая в числе современных писателей меня и Катаева”.

“Должно отметить большой успех Толстого, выступившего с докладом и повестью в Политехническом музее”, — сообщал “Оливер Твист” (то есть Катаев) в “Накануне”.

“Алексей Толстой был крёстным первой книги Катаева, — писал Миндлин. — Из всех московских “накануневцев” Катаев более, чем кто-либо другой, сблизился с Алексеем Толстым”. Вспоминая первый визит графа в московскую редакцию “Накануне”, Миндлин спрашивал себя: “Кто был тогда с нами?” — и первым называл Катаева: “Толстой вообще не отпущал Катаева от себя”, — затем Булгакова и литератора Михаила Левидова.

Берлинское “Книгоиздательство писателей” выделило Толстому деньги на сборник московских авторов. Но вместо этого он решил издать одного Катаева. У того не хватало прозы на десять листов — разве что на восемь. Но Толстой только фыркнул: наберёте. Катаев взял деньги.

“Недель через шесть я встретил его на Тверской сияющего:

— Миндлин! Смотрите! — Он вытащил из-за пазухи берлинское издание книги. — Первая книга! Теперь будет и вторая, и третья. Самое главное — выпустить первую!”

Книга, выпущенная в Берлине, называлась, как и включённый в неё рассказ, “Сэр Генри и чёрт”.

В связи с этим названием Миндлин вспоминал о писателе О. Генри, чуть было не рассорившем его с Катаевым. В то время влияние сюжетной (с неожиданными развязками) прозы этого американского писателя было велико, особенно на Катаева. Как-то вечером, шагая с приятелями, Катаев, хвастая освоёнными им приёмами литературной техники, воскликнул:

— Режусь на О. Генри, ребята!

Вскоре Миндлин написал статью в “Накануне”, где критиковал молодых литераторов за поверхностное увлечение О. Генри и привёл катаевскую фразу, не уточняя, правда, кто её выкрикнул. Тот сильно рассердился и, придя в редакцию, возбуждённо скандалил с Миндлиным, обещая вообще перестать с ним разговаривать, потому что тот не имел права разглашать сказанное на улице. “Да ведь я не назвал вашу фамилию, Катаев!” — успокаивал автор, и так объяснил для себя это возмущение: Катаеву не нравится, что свидетели реплики узнают его в персонаже статьи.

Но ведь можно предположить другие причины истерики. В том для кого-то ещё безоблачном начале двадцатых Катаев, уже побывавший “где надо”, слишком хорошо усвоил, что такое письменно (да ещё и публично) зафиксированные слова из частного разговора, потому и пригрозил Миндлину стеной молчания. Мало ли чего ещё могли натрепать... Он ноздрями и шкурой зверя-подранка почуял эту тошнотворную угрозу — донос! — и прибежал, зарычал: “Заткнись, не смей!”

2 сентября Булгаков записал в дневнике: “Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому (Иваньково). Он сегодня был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богомно общаться с молодыми писателями. Всё, впрочем, искупает его действительно большой талант. Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звёздный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать неореальную школу. Он стал даже немного тёплым: — Поклянёмся, глядя на луну...

Он смел, но он ищет поддержки и во мне, и в Катаеве”.

Происхождение этих контактов так очевидно, что при желании уже в 30-е не составило бы труда сварганить дело о “заговоре белогвардейцев”, замаскировавшихся под “неореалистов”.

Толстой первое время пребывания на родине не только тесно общался с Катаевым, но и был с ним в переписке. Он поощрял его прозу, а в январе 24-го советовал взяться за драматургию: “Вы думаете, неприглядно, когда хвалят? Очень приглядно. Возьмите в Госиздате “Аэлиту” отд<ельное> изд<ание>, прочтите и напишите мне по совести. Мне нужно Ваше мнение... Театр, театр — вот угар! Из Вас выйдет **очень** хороший драматург, если только Вы серьёзно возьмётесь за работу... Всё, что пишу, — это найдено, много из своего опыта. Может быть, Вам пригодится... Присылайте рассказ. Передайте Булгакову, что я очень прошу его прислать для <<“Звезды”> рукопись... Обнимаю Вас, целую мадам Мухе руки”.

К этому письму, вклеенному в альбом, составленный Кручёных, Катаев позднее сделал приписку: “Спасибо! Научил на свою голову”.

Толстой не просто подталкивал Катаева к театру, но и ясно понимал его желание туда попасть (что означало настоящий успех и большие деньги), хотя до написания пьес ему оставалось ещё несколько лет.

И Толстой, и, конечно, Булгаков, да и Катаев оставались в значительной мере людьми “дореволюционного стиля жизни” (“роскошь” была для них важна и эстетически — имитация дореволюционного барства как своего рода “внутренняя эмиграция”).

Многое из наступившего времени они принимали вынужденно. Сторонились партийности. Им был важен успех, пусть бы и под речитатив новых лозунгов, хотелось окружения красивых женщин и антикварных вещей, чтобы, быть может, так чувствовать связь с той, былой, как будто бы отменённой Россией.

В 24-м Катаев написал рассказ “Товарищ Пробкин” про “красного барина” — богача, директора треста “Красноватый шик”, вместо “товарищи” норовившего сказать “господа”. “На нём была грубая, засаленная блуза, из-под раскрытого ворота которой выглядывало хорошее бельё и полосатый галстук бабочкой”. Он музицировал на пианино, читал старые книги (“марксистская литература — издательство Маркса”), но всё переименовал на строгий социалистический лад: персональный повар — “секретарь яички наршита” — жарил ему котлеты а-ля Коминтерн.

... Позднее Катаев с Толстым не были так близки.

Впрочем, уже в 1932-м в Париже поэт и критик Георгий Адамович, размышляя о Катаеве, связывал его с Толстым: “Немногие из современных беллетристов — не только советских, но и вообще всех пишущих на русском языке, — владеют такой интуицией, как он, таким “нюхом” к жизни, таким острым её ощущением. В России — Алексей Толстой, больше, пожалуй, никто. Как и Толстой, Катаев — писатель менее всего “интеллектуальный”, и там, где без помощи разума обойтись невозможно, он довольно слаб. Но в тех областях, где не столько надо понимать, сколько чувствовать, Катаев достигает правдивости почти безошибочной. Конечно, с Ал<ексе-

ем> Толстым сравнить его ещё рано: он не соперник Толстого, он его ученик... Но ученик способнейший”.

Это писалось после “Растратчиков” и “Времени, вперед!”, но до романа “Белеет парус одинокий”...

В 35-м Катаев замечал в “Литгазете”: “Мало и плохо написано о таком замечательном писателе, как Алексей Толстой. Между тем, на его примере следовало бы показать начинающим писателям, как надо работать...”

Он не взял его в звёздный пантеон “Алмазного венца”. Почему? Из опасений утонуть в жирной толстовской тени? Или из-за поколенческой, в четырнадцать лет, разницы? Или из стремления щегольнуть перед “прогрессивным читателем” дружбой с роковыми художниками, но не высвечивать отношений со слишком родственным “баринном”, имевшим репутацию приспособленца?

Вернее, один раз он упомянут — как “некто”: “А где-то неподалёку от этого священного места (памятника Пушкину в Царском Селе. — С. Ш.) некто скушал по дешёвке дворцовую мебель красного дерева, хрусталь, фарфор, картины в золотых рамах и устраивал рекламные приёмы в особняке...”

Действительно, в летние месяцы 1924—1927 годов Толстой жил в бывшем Царском Селе (тогда Детском), куда в 28-м переехал насовсем.

Катаев не то чтобы осуждал “господина некто” за эту основательную, мощную роскошь, сколько сопоставлял его запредельный образ жизни со своими “набегами” на Ленинград и шампанскими кутежами “по-купечески” в обществе “знакомых, полужнакомых и совсем незнакомых красавиц”...

Между тем, он общался с Толстым и во время загульных визитов “к брегам Невы”. В июне 25-го Толстой благодарил его в письме за “чтение прекрасного рассказа” и зазывал на дачу в Сиверскую: “...ягоды, грибы, в речке сомы по пол-аршина... половим раков на воблиную голову”.

В августе 28-го Валентин Петрович сообщал жене: “Получил письмо от Толстого. Этот старый и толстый бандит написал оперу, пишет оперетки и комедию. Сукин сын! Усиленно зовёт к себе на дачу. Может быть, сметаюсь...”

Катаевское дистанцирование от Толстого ничуть не помешало в 69-м году поэту Борису Чичибабину записать два их имени подряд в небезызвестном стихотворении “Сожаление”, которое правильнее было бы назвать “Обличение”:

*Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев,
как Алексей Толстой
и Валентин Катаев.*

*Мне жаль их пышных дней
и суетной удачи:
их сущность тем бедней,
чем видимость богаче.*

*Их сок ушёл в песок,
чтоб, к веку приспособясь,
за лакомый кусок
отдать талант и совесть.*

Стихи искренне-размашисты. Но что-то они напоминают — звонкие, как пощёчины... По-моему, это всё тот же пафос “передовых пролетариев”, которые обвиняли Катаева и Толстого в “буржуазности” и “попутничестве”. Всё та же листовочная рапшовская прямота, по поводу которой, иронизируя над морализаторами в литературе и периодической сменой “общепринятого”, ещё в 29-м году в анкете журнала “На литературном посту” Катаев замечал: “Горе писателю, если он, пересмотрев вопрос о “хорошо” и “плохо”, общепринятое плохое назовёт хорошим. Тогда критик-мещанин спешно подвязывает к своему угреватому подбородку внушительную марксистскую бороду и хватает дерзкого за штаны”.

(Окончание следует)